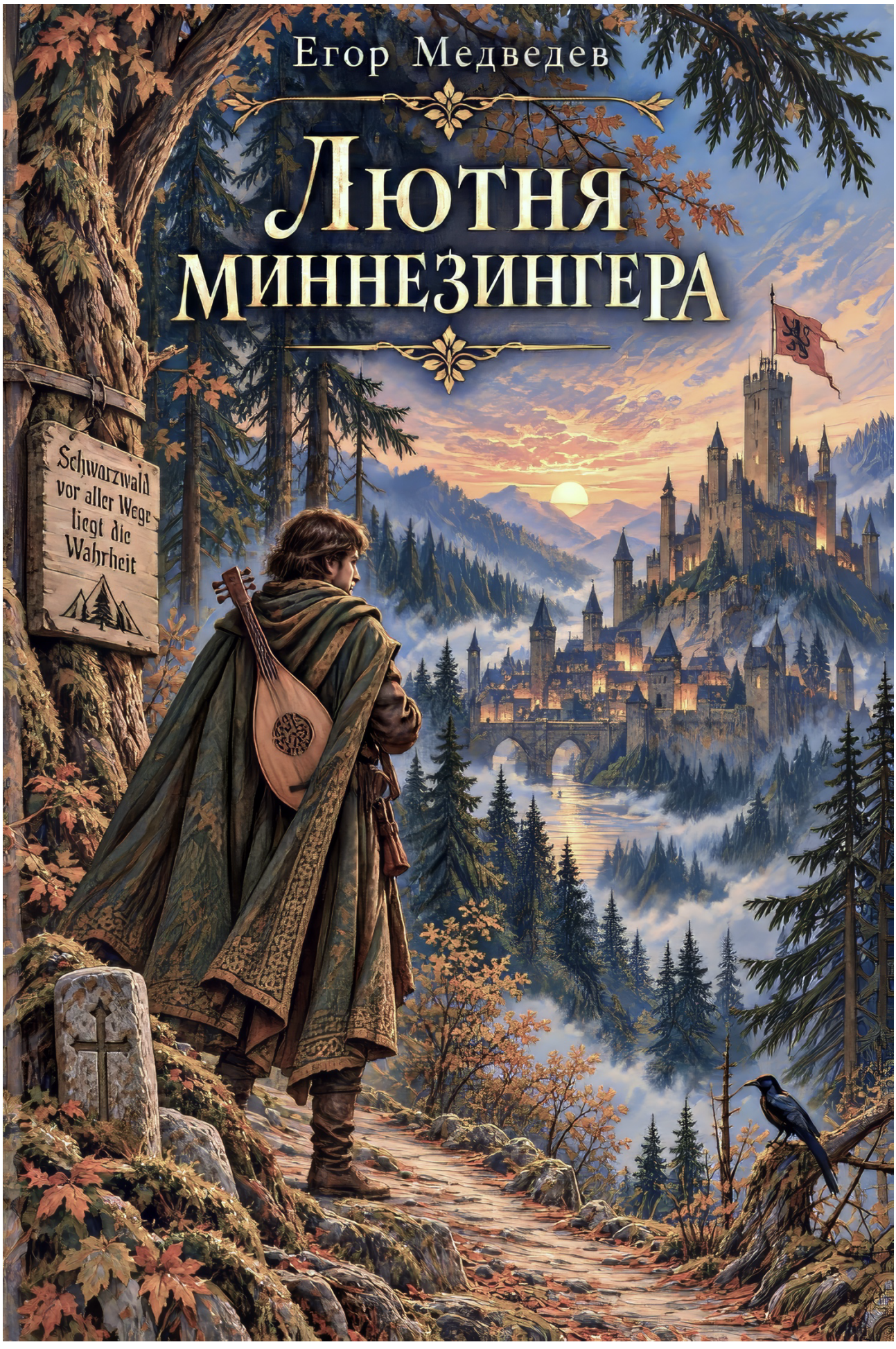

Егор Медведев
Лютня миннезингера
Schwarzwald
vor aller Wege
liegt die
Wahrheit

МУЗЫКА ШВАРЦВАЛЬДА

Глубоко в тени древних буков и елей, куда солнечный свет проникает лишь редкими золотыми лентами, рождается особая музыка. Её не услышишь в бальных залах и княжеских палатах. Она не звучит из придворных лютен и не подчиняется стройному голосу оркестра. То поёт сам Шварцвальд.

Шорох его листвы схож с шёпотом старца, тоскующего по ушедшим временам. Скрипят его ветви, и кажется, будто лес тяжело вздыхает во сне. Ручьи перебирают камни, словно струны, а птицы выводят мелодии, которым их никто не учил.

Эту музыку слышат не все. Её слышат поэты, странники, пастухи, безумцы и миннезингеры.

Последние знают ей особую цену. Они странствуют от замка к замку, от княжеского двора к придорожному трактиру, распевая о любви, войне, смерти и человеческой глупости. Иногда в их песнях случается прозвучать такой правде, которую властителям лучше было бы забыть.

Эта сказка о таком миннезингере. И о том, что случилось однажды, когда музыка леса столкнулась с глухотой власти.

ЛЮТНЯ МИННЕЗИНГЕРА[1]

Ветер разогнал последние облака, и над Шварцвальдом снова засияло ясное небо.

По лесной дороге, петлявшей между елей и буков, медленно двигался обоз. Скрипели колёса, фыркали усталые лошади, лаяли собаки. Дети плакали от голода и дорожной усталости, взрослые переговаривались вполголоса и то и дело оглядывались назад.

То были переселенцы, крестьяне из верховьев Вольфахталя. Они оставили свои дома из-за нескончаемых поборов и мздоимства, ночных облав и странных исчезновений. Сначала пропадали люди, потом скот, а затем стали исчезать даже те, кто пытался их отыскать. Поговаривали о колдовстве, но на людях об этом никто не говорил. В здешних местах даже у леса были уши.

Когда солнце поднялось над верхушками деревьев, седой старик с густой чёрной бородой поднял руку.

– Надо бы передохнуть. Да и кони устали.

Обоз остановился на опушке под старым развесистым дубом. Кто-то достал хлеб, кто-то мех с водой. Дети, забыв на время о дорожной усталости, принялись играть с палками.

Лес стоял вокруг глухой стеной. Лишь время от времени где-то трещала сухая ветка или ветер пробегал по вершинам сосен.

И тут они услышали пение.

Голос был высокий и чистый, но в нём звучала такая печаль, что даже дети замолчали. Слова терялись среди деревьев, однако мелодия была слышна ясно. Слова терялись среди деревьев, однако мелодия была слышна ясно. В ней жила тоска по утраченному, но вместе с ней проступала странная, светлая решимость.

Крестьяне тревожно переглянулись. Один из них схватился за косу, другой перекрестился и сжал пальцами нательный крест.

Но из-за поворота вышел не чёрт, и не лесной дух, как подумали крестьяне, а обычный человек. Высокий, худощавый, с дорожной сумой через плечо и лютней за спиной. Он шёл легко, и по его виду было видно, что длинная дорога ему привычнее собственного дома.

Увидев крестьян, путник улыбнулся и снял шляпу.

– Мир вам, добрые люди. Я услышал ваши голоса и решил подойти. Вижу, дорога вас измучила. Позволите сыграть для вас?

---

[1] Миннезингер (от нем. «Minne» «любовь» и «Sänger» «певец») – средневековый немецкий поэт и певец, исполнявший песни о любви, а также затрагивавший нравственные, общественные и политические темы. Традиция миннезанга сложилась в XII веке.

Крестьяне промолчали, однако и прогонять незнакомца не стали.

Миннезингер снял лютню, сел на камень под старым дубом и провёл пальцами по струнам. Первые звуки разнеслись по опушке. А потом он запел:

Ложь и злоба миром правят.
Совесть душат, правду травят,
Мёртв закон, убита честь –
Непотребных дел не счесть.

Заперты, закрыты двери
Доброте, любви и вере.
Мудрость учит в наши дни:
Укради и обмани!

Друг в беде бросает друга,
На супруга лжёт супруга,
И торгует братом брат…
Вот какой царит разврат!

«Выдь-ка, милый, на дорожку,
Я тебе подставлю ножку», –
Улыбается ханжа,
Нож за пазухой держа.

Что за времечко такое!
Ни порядка, ни покоя.
И Господень Сын у нас
Вновь распят – в который раз![2]

Песня пришлась крестьянам по душе. В ней было всё, о чём они сами говорили за закрытыми дверями. Постепенно лица их разгладились. Кто-то усмехнулся, кто-то покачал головой в такт музыке.

Когда последняя струна смолкла, старик спросил:

– Откуда вы, господин миннезингер?

– Издалека, – улыбнулся тот. – Давно уже странствую и привык считать родиной всякое место, где меня готовы накормить.

Старик усмехнулся.

– Счастливый вы человек, – прищурился старик. – Вам хоть есть куда идти. Мы тоже когда-то знали место, что звали домом, пока господа не решили, что оно им нужнее.

Он кивнул жене, и та принесла бродячему музыканту краюху ржаного хлеба, зелёный лук и кружку тёплой воды.

– И где же был ваш дом? – спросил миннезингер, уминая хлеб за обе щёки.

– В верховьях Вольфахталя. Прямо по дороге. Но больше там делать нечего.

Миннезингер на мгновение задумался.

– Что ж, это мы ещё увидим. А скажите, есть ли там место, где любят музыку?

– Да, в трактире на центральной площади часто играли. Но сейчас людям не до того. Советую попробовать во дворце, – ответил старик. – Правда, с такими песнями вы там и гроша ломаного не заработаете. Теперь там звучит совсем другая музыка.

Миннезингер поднял бровь.

---

[2] – (Стихотворение взято из сборника Carmina Burana и принадлежит средневековому поэту-ваганту Гуго Орлеанскому. Здесь – в переводе Льва Гинзбурга. Вы можете послушать его в качестве песни в исполнении барда А. Дулова на сайте Bards.ru.). [2]

– Тем интереснее.

Он улыбнулся, закинул лютню за плечо и поклонился.

– Счастливого пути.

Через мгновение он уже скрылся среди елей, а крестьяне долго ещё смотрели ему вслед.

***

К вечеру миннезингер достиг города.

Издали тот казался вполне благополучным. Над крепостной стеной поднимались башни, а на самой высокой развевался алый штандарт наместника. Ветер доносил звон колокола, а за стенами клубился сизый дым.

Подойдя ближе, миннезингер понял, что дым пахнет вовсе не домашним очагом. Из городских ворот тянуло помоями, навозом и гнилой соломой. В придорожной канаве застоялась чёрная вода, покрытая жирной плёнкой. В ней плавали капустные листья, щепки, дохлые крысы. Между булыжниками набилась грязь, и каждый шаг отдавался влажным чавканьем.

У ворот стояли двое стражников. Один дремал, опершись на копьё, другой лениво ковырял в носу.

– Плата за проход, – сказал он, едва взглянув на путника.

– Я думал, за проход платят только разбойникам.

Стражник поднял глаза.

Миннезингер улыбнулся и протянул монету.

– За шутки тоже платить?

Стражник взял монету.

– За шутки пока нет.

– Значит, город ещё держится.

Стражник ничего не ответил.

За воротами начиналась главная улица. Здесь миннезингер впервые заметил пустые дома. Двери некоторых стояли распахнутыми. В окнах чернели пустые глазницы. Где-то ставни были сорваны с петель, где-то их забили досками. На дверях висели свежие печати наместника.

У одного дома на пороге лежала детская деревянная лошадка. Кто-то наступил на неё сапогом, и одно колесо отломилось.

Миннезингер остановился. На стене рядом с дверью ещё виднелись выцарапанные детские буквы: «HANS. LISEL. MUTTI.». Ниже кто-то недавно написал углём: “EIGENTUM WEGEN SCHULDEN BESCHLAGNAHMT[3]». Миннезингер долго смотрел на надпись. Потом пошёл дальше.

Чем глубже он входил в город, тем меньше становилось людей. Торговые лавки были закрыты. Из некоторых окон доносился кашель. На перекрёстке сидела старуха, прижав к груди пустой мешок. Мимо неё прошли трое солдат, и она поспешно убрала ноги с дороги.

На площади двое сборщиков налогов вытряхивали содержимое сундука прямо на мостовую.

– Я всё отдала! – плакала женщина. – Последнее зерно отдала!

– Значит, осталось что-нибудь ещё.

– Дети…

– Дети от податей не освобождаются.

Один из сборщиков поднял с земли маленький мешочек муки. Женщина вцепилась в него обеими руками.

– Оставьте хоть это. До зимы ещё далеко, а детей кормить нечем.

---

[3] – (с нем.) – «Имущество конфисковано за долги».

Солдат дёрнул мешок на себя, и старая мешковина затрещала, разошлась по шву. Сероватая мука просыпалась на камни. Женщина вскрикнула и бросилась собирать её ладонями.

Солдат грязно выругался и замахнулся было на женщину, но потом передумал, что-то сказал ей и вместе с товарищем пошёл прочь. Женщина осталась на мостовой. Она собирала муку прямо с камней, вместе с грязью и мелкими щепками, и тихо плакала.

Миннезингер смотрел вслед солдатам. Они всего лишь исполняли приказ. Но разве приказ становился справедливым оттого, что его отдали?

Он пошёл дальше, погружённый в эту мысль, и лишь спустя несколько минут заметил, что оказался у самой стены замка. Оттуда доносился смех и шёл запах восхитительного жаркого.

Не успел миннезингер додумать свои мысли, как на центральной площади загремели барабаны. На балкон ратуши выскочили двое глашатаев в пышных, слегка потёртых бархатных кафтанах. Развернув длинный свиток с тяжёлой восковой печатью, один из них затянул:

– Слушайте, слушайте, и не говорите, что не слышали! – зычно раскатывалось над площадью. – В сей благословенный вечер Его Высокородие созывает великий пир в честь процветания и величия ландфогта[4] Эберхарда!

Он говорил что-то ещё – о неслыханной милости правителя, о полных погребах, о благоденствии – но люди уже не слушали, – по площади уже пошёл тихий, горький ропот. Люди лишь молча отворачивали бледные лица да сжимали кулаки в дырявых карманах. Никто из простых горожан давно не верил этим пышным словам и обещаниям. Все прекрасно понимали: процветание Эберхарда вымощено их нуждой, а к ломящимся от еды столам допустят лишь угодливую знать, богатых купцов да верных псов ландфогта. Простым же ремесленникам, пастухам и крестьянам, у которых казначей Гуго выгреб последние медяки, в этот вечер «изобилия» полагалось лишь потуже затянуть пояса, сглатывать голодную слюну и ложиться спать в холодных домах.

Закончив чтение, глашатаи с важным видом торжественно свернули свитки с тяжёлыми восковыми печатями, и чеканя шаг, удалились прочь.

Миннезингер, прислонившись к тёмному каменному выступу ратуши, молча наблюдал за расходившимся людом. В этой разношёрстной толпе он без труда разглядел и тех самых «высокоблагородных» дам и господ, чьи сытые лица резко выделялись на фоне общей нищеты. Услышав о празднике, они просияли, зашушукались и поспешно устремились по домам – наряжаться в пышные платья, натирать до блеска золотые цепи и собираться на пир, где их ждала доля внимания господина.

***

Смеркалось. Сумеречный туман, спускавшийся с круч Шварцвальда, переваливал через каменные стены и медленно заполнял узкие улицы. Город постепенно затихал, закрывался от ночи. Прятался.

На вымощенной булыжником площади, сбившись в небольшие кучки около догорающих костров из сырого хвороста, сидела беднота. У них был свой пир. Старый ремесленник с иссушенным от нужды лицом аккуратно, заботясь о каждой крошке, разрезал ножом последнюю засохшую луковицу и заплесневелую корку ржаного хлеба. Он раздал горькие дольки детям. Малыши сосали сухие чешуйки, шмыгая носами и вытирая грязными кулачками слезящиеся глаза.

А прямо над всем этим гордо высился замок Эберхарда Гросса. Из его высоких стрельчатых окон на тёмную площадь вырывались яркие, золотые полосы света. В сыром ночном воздухе отчётливо и дразняще пахло жареной дичью, пряным горячим вином,

[4] Ландфогт (нем. «Landvogt») • в средневековых немецких землях наместник, управлявший определённой территорией от имени правителя. Его обязанности могли включать суд, сбор податей и поддержание порядка.

запечённым поросёнком и свежим белым хлебом. Этот тяжёлый, жирный аромат плыл над замерзающим городом, причиняя голодным людям почти физические страдания.

Сквозь толстые стены замка доносились взрывы пьяного хохота, тяжёлый стук серебряных кубков о дубовые столы и угодливый визг придворных скрипок. Там, в тепле и роскоши, ландфогт и его свита праздновали своё «величие». Казначей Гуго, сидя по правую руку от господина, довольно потирал сухие пальцы, высчитывая прибыль от новых поборов, а сам Эберхард утирал жирные губы рукавом бархатного кафтана.

Миннезингер стоял в густой тени под аркой, положив ладонь на деревянный корпус лютни. В её тихой глубине, казалось, отозвался глухой, недовольный гул Шварцвальда.

Поправив ремень за плечом, миннезингер вышел из тени и направился прямо к украшенным резьбой замковым воротам.

У ворот стражники в начищенных кирасах преградили ему дорогу алебардами. В отличие от своих товарищей у городских ворот, эти выглядели сытыми и бодрыми. От одного пахло вином и жареным чесноком.

– Куда?

– Я музыкант. Хочу выступить на пиру.

Стражник оглядел его дорожный плащ, стоптанные сапоги и задержал взгляд на лютне.

– Званый?

– Нет.

– Тогда ступай своей дорогой.

Миннезингер уже хотел ответить, когда второй стражник, до сих пор молчавший, тронул товарища за плечо.

– Погоди. Нам велено музыкантов пропускать.

Первый снова посмотрел на лютню.

– Играешь хорошо?

– Иногда получается.

– А песни какие знаешь?

– Разные.

– Весёлые?

Миннезингер чуть подумал.

– Смотря кто слушает.

Стражник нахмурился, но его товарищ уже убрал алебарду.

– Пускай проходит, если сумеет господина развеселить, хоть заработает. А не сумеет – сам пожалеет, что пришёл.

Алебарды разошлись. Миннезингер поклонился стражникам и переступил порог.

– Эй, музыкант! – окликнули они его.

Он обернулся.

– Совет тебе. Наш господин любит песни про себя.

Миннезингер улыбнулся.

– Какое счастливое совпадение. Я как раз собирался спеть о нём.

За воротами лежал просторный двор, залитый светом факелов. Здесь царила суета. Конюхи принимали лошадей у прибывающих гостей, слуги торопливо таскали корзины, бочонки и кувшины, повара бранились возле кухонной пристройки. Под навесом на длинных крюках висели освежёванные туши, а по камням тянулись тёмные ручейки крови.

Миннезингер невольно вспомнил женщину на площади, собиравшую из грязи рассыпанную муку.

Мимо него пробежал мальчишка с большим подносом белых булок. Одна соскользнула на землю и покатилась по камням.

– Стой!

Мальчишка замер.

Из кухонной двери вышел толстый повар в заляпанном переднике. Он поднял булку, осмотрел её со всех сторон и швырнул в стоявшую у стены бочку с объедками.

– Господам с земли не подают.

Мальчишка кивнул, подхватил поднос и поспешил дальше. Миннезингер проводил его взглядом. Совсем недавно, по другую сторону замковой стены, голодные дети делили заплесневелую корку.

Он снова поправил ремень лютни и вошёл в замок.

Внутри было жарко. В огромных очагах трещали поленья, вдоль стен горели свечи, и тяжёлый воздух густо пах воском, пряным вином, духами и жареным мясом. Слуги сновали по коридорам с блюдами и кувшинами, торопливо прижимаясь к стенам перед знатными гостями.

Дорогу спрашивать не пришлось. Миннезингер пошёл на музыку. С каждым шагом она становилась громче. Сперва он различал только звуки виелы и арфы. Потом к ним присоединился мужской голос.

Певец старался изо всех сил. Он выводил длинные рулады, поднимался к высоким нотам, задерживался на них и снова спускался, сопровождаемый нежным перебором струн. Голос был поставлен превосходно. Миннезингер даже замедлил шаг. Потом он разобрал слова.

Певец сравнивал мудрость Эберхарда с мудростью Соломона. Миннезингер остановился. В следующей строфе храбрость ландфогта уподоблялась львиной. Он медленно поднял бровь. Когда же выяснилось, что само солнце каждое утро восходит над Шварцвальдом лишь затем, чтобы первым приветствовать Эберхарда, миннезингер снял шляпу и некоторое время задумчиво рассматривал её.

– Бедное солнце, – произнёс он.

Мимо проходила молодая служанка с кувшином вина. Услышав эти слова, она прыснула и тут же зажала рот ладонью. Миннезингер приложил палец к губам. Девушка поспешила дальше.

Он дошёл до распахнутых дверей пиршественного зала и остановился на пороге. Теперь он увидел того, кому посвящалась песня.

Эберхард Гросс восседал во главе стола под расшитым золотом балдахином. Бархатный кафтан туго обтягивал его огромное брюхо, тяжёлая золотая цепь терялась в складках шеи. Перед ландфогтом громоздилось блюдо с запечённым кабаном. Эберхард орудовал ножом, время от времени отправляя в рот куски мяса и запивая их вином. По правую руку сидел казначей Гуго.

Среди раскрасневшихся гостей он казался почти бесцветным. Худой, узкоплечий, с длинным лицом и острым подбородком, Гуго почти не притрагивался к еде. Перед ним лежала восковая табличка, и время от времени казначей что-то царапал на ней стилом. Даже на пиру он считал.

Посреди зала стояли трое шпильманов. Один держал виелу[5], другой перебирал струны небольшой арфы, третий пел, прижав ладонь к груди. Песня закончилась. Несколько мгновений стояла тишина. Эберхард оторвался от кабана.

– Хорошо!

Гости тотчас захлопали.

– Особенно про солнце, – добавил ландфогт.

Певец низко поклонился.

– Оно и само почло бы за честь услышать эти слова, Ваше Высокородие.

Эберхард расхохотался. Зал послушно последовал его примеру. Миннезингер остался стоять в дверях.

Он смотрел на согнувшегося в поклоне певца, на довольные лица гостей, на жирные пальцы Эберхарда. Потом опустил глаза на собственную лютню.

– Госпожа Грубость, – тихо произнёс он, – вы всё-таки победили.

---

[5] Виела – средневековый струнный смычковый инструмент, один из предшественников скрипки. Использовалась для сопровождения пения и исполнения инструментальной музыки.

Следом в середину зала вышел молодой поэт. Он гнулся в поклонах и то и дело заглядывал в глаза сидевшим за столом господам. Стихи его были дурны и слабы, зато щедры на похвалы.

О, наш ландфогт, наш отцовский оплот!
С ним край Вольфахталя цветёт и поёт!
Щедрой, премудрой и сильной рукой
Дарит он краю богатство, покой!

Гости разразились угодливыми аплодисментами, а довольный Эберхард Гросс с хохотом швырнул поэту недоеденную фазанью ножку. Тот поймал её обеими руками. Поклонился и прижал к груди. Эберхард засмеялся ещё громче. Потом он поманил пальцем одного из музыкантов.

– Давай ещё раз про липу.

– Про липу! Про липу! – захлопали в ладоши придворные дамы.

Певец вышел в круг, поправил колки и запел:

В роще зелёной,
В липовой чаще
Наш уголок был к счастью готов.
Там для влюблённых
Рай настоящий
В гуще примятых трав и цветов.

Там на лужайке слышу я:
Тандарадай!
Шальные трели соловья.

Песня была чужая, но это мало кого смущало.

– Тандарадай! Тандарадай! – подхватили придворные дамы.

Стелет он ложе
Краше и чище,
Мягкой травой покрывает кровать.
Ныне он может
В нашем жилище
Страстно меня целовать.

Любит отыскивать он среди роз:
Тандарадай!
Губки мои, и щёчки, и нос.[2]

([2] - стих. Вальтера фон дер Фогельвейде, “Под липой” в пер. Ромен Нудельмана)

Эта песня пришлась гостям по душе куда больше прежних славословий. Дамы подпевали, кто-то отбивал ладонью такт по столу, несколько захмелевших рыцарей дружно грянули «Тандарадай!», опоздав почти на целую строку.

Эберхард перестал улыбаться. Он сидел неподвижно, держа кубок у самого рта, и смотрел на веселящихся гостей. Смех за столами ещё продолжался. Тогда Эберхард поставил кубок. И этого оказалось достаточно.

Ближайшие к нему гости умолкли первыми. За ними стихли остальные. Последнее одинокое «Тандарадай» прозвучало откуда-то с дальнего конца стола и оборвалось на полуслове.

Певец закончил песню и поклонился. Эберхард улыбнулся, потом едва заметно шевельнул двумя пальцами. Из-за колонн вышли двое крепких слуг. Один положил руку певцу на плечо.

– Его Высокородие желает поблагодарить тебя особо.

Музыкант побледнел. Его увели через боковую дверь. Никто не спросил куда.

Гости вдруг обнаружили перед собой множество чрезвычайно важных дел. Один принялся с необыкновенным вниманием разделывать куропатку. Другой потянулся за вином. Дамы опустили глаза. Молодой поэт, всё ещё державший фазанью ножку, поспешно спрятал её под стол.

Эберхард медленно обвёл зал взглядом. Никто не осмелился посмотреть на него. Кроме человека, стоявшего в дверях.

Их взгляды скрестились. Ландфогт прищурился.

– А ты ещё кто такой?

– Странствующий миннезингер.

Эберхард посмотрел на лютню за его плечом.

– Вот как?

Он откинулся в кресле и вытер пальцы о край скатерти.

– Ну и что ты нам исполнишь, миннезингер? Мои гости, кажется, заскучали.

В зале стало очень тихо.

– Зря я велел петь одну и ту же песню дважды, – добавил Эберхард.

Миннезингер посмотрел на боковую дверь, за которой исчез певец. Потом снял лютню с плеча.

– В этом я с вами совершенно согласен.

Он вышел на середину зала, сел на оставленный шпильманами табурет, положил инструмент на колено и несколько раз тихо тронул струны. Звук вышел чистым и глубоким.

Эберхард подался вперёд.

– Ну? Что умеешь?

– Петь, Ваше Высокородие.

По столам пробежал смешок.

– Это я вижу. О чём поёшь?

Миннезингер задумался.

– О любви. О войне. О доблести. Иногда о глупости.

Кто-то за столом кашлянул. Эберхард усмехнулся.

– С глупостью мы сегодня уже разобрались. Да и песен я слышал много. А ты спой такую, которой я прежде не слышал. А ещё лучше такую, которой до нынешнего вечера вообще не существовало.

Миннезингер улыбнулся.

– Трудную задачу вы мне задали.

– За трудные задачи я и плачу по-королевски.

Ландфогт взял со стола серебряную монету и подбросил её. Монета блеснула в свете свечей, упала на каменный пол и покатилась к ногам миннезингера. Он остановил её носком сапога.

– Вот твоя плата. Спой так, чтобы мне понравилось, и получишь ещё.

Миннезингер нагнулся, поднял монету и некоторое время рассматривал отчеканенный на ней профиль.

– Щедро, – сказал он.

Эберхард не уловил насмешки.

– А если песня вам не понравится?

Ландфогт улыбнулся. Никто за столами не засмеялся.

– Тогда и узнаешь.

Миннезингер кивнул и положил монету на край стола.

– Боюсь, Ваше Высокородие, с песнями есть одна трудность.

– Какая ещё трудность?

– Они плохо знают, кому должны нравиться.

Гуго перестал писать. Острый конец стиля замер над восковой табличкой.

Эберхард нахмурился.

– Ты что же, дерзить мне вздумал?

– Я лишь пытаюсь понять, какую песню вы желаете услышать.

– Я же сказал. Ты побывал в нашем славном городе. Тебя здесь радушно встретили. Ты уже неплохо заработал, а заработаешь ещё больше. Вот об этом и спой. О том, что увидел. Чтобы песня была правдивой, и чтобы потом ты мог петь её повсюду, куда занесёт тебя дорога.

Миннезингер посмотрел на него.

– Значит, правдивую?

По залу словно прошёл холодок. Эберхард медленно поставил кубок. Гуго смотрел на миннезингера, не мигая. Несколько гостей, почуяв недоброе, опустили глаза.

– Пой, – сказал Эберхард.

Гуго чуть повернул голову.

– Ваше Высокородие...

– Я сказал: пой!

Казначей замолчал. Эберхард откинулся в кресле.

– Послушаем, какую правду увидел в моём городе бродячий певец.

Миннезингер несколько мгновений смотрел на него. Потом положил пальцы на струны.

– Как прикажете.

Первый аккорд прозвучал негромко. Миннезингер прислушался к нему, чуть повернул колок и снова коснулся струн. Виела и арфа молчали. Шпильманы стояли у стены, и никто из них не решался вступить без приказа.

А мелодия была простой. Почти весёлой. Эберхард снова довольно откинулся в кресле и расслабился. И миннезингер запел:

В славном краю, где синеют леса,
Где над горами горят небеса,
Правит достойнейший, праведный граф –
Мудр, справедлив и во всём всегда прав.

На лице Эберхарда появилась улыбка. Кто-то из гостей облегчённо рассмеялся. Молодой поэт одобрительно закивал, словно услышал произведение, вполне соответствовавшее его собственным представлениям о прекрасном.

Миннезингер продолжал:

Сыт его город, и замок богат,
Полны закрома, и амбары трещат.
Каждый доволен судьбою своей,
Вдовы живут у нас краше князей!

Улыбка Эберхарда дрогнула. Гуго медленно положил стиль рядом с восковой табличкой. А миннезингер продолжал:

Хлеба так много в счастливом краю –
Корку объедков детям дают.
Столько муки просыпалось в пыли –

Скребут её бедные с тёмной земли.

Несколько человек за столом перестали жевать. Эберхард нахмурился.
– Что?..
Миннезингер ударил по струнам громче.

Столько добра накопили дома –
Всюду печати, и в горницах – тьма.
Некому больше богатства считать:
Выгнали тех, кто дерзал проживать.

Теперь в зале поняли всё. Один из придворных осторожно отложил приборы и перестал жевать. Молодой поэт побледнел. Дамы больше не улыбались. Эберхард смотрел на певца исподлобья.
– Довольно.
Но миннезингер не останавливался.
– Я же сказал: довольно!
Пальцы скользнули по струнам. И тогда впервые прозвучал припев:

Пой же, мой город, покуда живой!
Правду не скрыть за высокой стеной.
Заставят умолкнуть хотя б одного –
И песня найдёт себе тысячи ртов!

Гуго резко поднялся, но Эберхард остановил его, вскинув руку.
– Сидеть!
Казначей замер. Ландфогт в упор смотрел на миннезингера. Лицо его налилось кровью, однако в глазах появился азарт человека, которому показалось, будто его вызвали на состязание перед всем двором.
– Пусть допоёт.
– Ваше Высокородие...
– Пусть. Допоёт.
Гуго медленно сел. Миннезингер взглянул на него и снова коснулся струн. За окнами шумел ночной Шварцвальд.

В славном краю веселится дворец,
Кубкам с вином не выходит конец.
Пахнет над городом мясом с огня...
Что же молчите вы, братья, друзья?

Здесь миннезингер остановился.
– Пой, – выплюнул Эберхард.
– Я пою лишь то, что видел.
– Ты ещё не спел обо мне.
Миннезингер посмотрел прямо на ландфогта.
– До вас я как раз дошёл.
И снова ударил по струнам.

Громко пируют хозяин и двор,
Полон вином господина затвор.
Ест за троих достославный наш граф –
Мудр, справедлив и во всём всегда прав.

Кто-то за столом невольно фыркнул. Эберхард резко повернул голову. Смешок оборвался.

Жирный кабан перед графом лежит,
Жир по хозяйским ладоням бежит.
Только попробуй, прохожий, пойми:
Кто из двоих здесь накормлен людьми?

По залу прокатился сдавленный вздох. Эберхард медленно поднялся.

– Ах ты...

– Вы велели петь правду, Ваше Высокородие.

Ландфогт сжал кулак. Миннезингер перевёл взгляд на казначея. Гуго понял всё прежде, чем прозвучало его имя.

Рядом с хозяином тощий сидит,
Пишет исправно, считает, скрипит:
Сколько у вдов остаётся грошей,
Сколько зерна отобрать у детей.

Стиль выпал из пальцев Гуго и стукнул о стол. В первый раз за весь вечер миннезингер улыбнулся ему.

Строчит казначей, не жалея свечи,
Считает нажитое в тёмной ночи.
Сводит усердно доход и расход,
Только вот слёз почему-то не в счёт.

.

– Хватит! – вскочил Гуго. – Ваше Высокородие, прикажите схватить его!

Эберхард молчал. Миннезингер снова ударил по струнам.

Пой же, мой город, покуда живой!
Правду не скрыть за высокой стеной.
Заставят умолкнуть хотя б одного –
И песня найдёт себе тысячи ртов!

На этот раз никто не шелохнулся. За высокими окнами шумел ветер. Пламя свечей дрогнуло, будто по залу прошёл сквозняк. Миннезингер поднялся с табурета. Он больше не смотрел на гостей. Последнюю строфу он пел Эберхарду.

Слушай же, Эберхард, песню мою:
Долго ль сидеть тебе в тёплом краю?
Лес терпелив. Он умеет молчать.
Лес никогда не умел забывать.

Эберхард побледнел. Миннезингер взял последний аккорд.

– Стража! – заревел ландфогт.

Двери распахнулись. В зал ворвались вооружённые люди. Миннезингер не сопротивлялся. Один стражник вырвал у него лютню, другой заломил руки за спину.

– В темницу его! – кричал Эберхард. – В яму! До утра чтобы света не видел!

Гуго наклонился к нему и что-то быстро прошептал. Ландфогт выслушал.

– Погодите!

Стражники остановились. Эберхард спустился с возвышения. Теперь они стояли друг против друга.

– Ты хотел правды, певец?

– Вы её хотели.

– Хорошо.

Эберхард подошёл ближе.

– Завтра весь город увидит, сколько стоит твоя правда.

Миннезингер посмотрел ему в глаза.

– Значит, всё-таки понравилась.

Эберхард ударил его. Миннезингер пошатнулся, но устоял. На каменный пол упала серебряная монета. Та самая, которую Эберхард бросил ему перед песней. Она звякнула и покатилась между столами. Никто не нагнулся чтобы её поднять.

– Уведите.

Стражники потащили миннезингера к дверям. Он уже почти скрылся в коридоре, когда одна струна брошенной на полу лютни вдруг тихо зазвенела. Гуго обернулся. Остальные, кажется, ничего не заметили.

***

В темницу вела узкая винтовая лестница.

Стражники тащили миннезингера вниз, всё глубже под замок. Здесь уже не пахло жареным мясом и вином. От каменных стен тянуло сыростью. Под сапогами хлюпала вода.

На нижней площадке их ждал тюремщик.

– Этого за что?

– Пел.

Тюремщик посмотрел на пленника.

– Слишком плохо?

– Слишком хорошо.

Тюремщик понимающе кивнул.

С миннезингера сняли пояс и дорожную суму, обыскали карманы. Потом втолкнули в низкую камеру и захлопнули дверь. Миннезингер ощупал разбитую губу и посмотрел на кровь, оставшуюся на пальцах.

– Значит, всё-таки не понравилась, – пробормотал он.

Из соседней камеры донёсся смешок. Миннезингер повернул голову.

– Кто здесь?

Ответа не последовало. Он сел у стены. Камень был холодным, солома под ногами отсырела и пахла плесенью. Где-то в темноте шуршала крыса. Через маленькое зарешёченное отверстие под потолком проникала узкая полоска лунного света. Миннезингер прислонился затылком к стене и закрыл глаза.

Наверху продолжался пир. Приглушённые звуки едва доходили сюда сквозь камень: далёкий смех, топот ног, иногда музыка. После случившегося шпильманы снова заиграли, только теперь осторожнее. Весёлые мелодии звучали одна за другой, словно музыкой можно было стереть из памяти то, что произошло в пиршественном зале.

Миннезингер тоже принялся петь. Он пел и пел свою песню, пока в коридоре не послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице.

Заскрежетал засов. В камеру вошли двое стражников. Один нёс фонарь, второй – короткую дубинку.

– Поднимайся.

Миннезингер поднялся и тут же резкий удар дубинки снова опрокинул его.

– Тебе же говорят: поднимайся! Его Высокородие хочет узнать, кто тебя подговорил.

– Подговорил на что?

– Спеть эту песню.

– Обычно я сам решаю, что мне петь.

Стражник с дубинкой ударил его в живот снова. Миннезингер согнулся и опёрся ладонью о стену.

– Ещё раз, – сказал стражник. – Кто тебя подговорил?

Пленник выпрямился.

– Женщина на площади.

Стражники переглянулись.

Какая женщина?

– Та, у которой ваши люди рассыпали муку.

Стражник нахмурился.

– Имя.

– Не спросил.

– Кто ещё?

Миннезингер задумался.

– Дети.

– Какие дети?

– Голодные.

Последовал второй удар. На этот раз он упал на колено.

– Кто ещё?

Миннезингер поднял голову. На разбитой губе появилась улыбка.

– Ваш господин.

Стражник замер.

– Он приказал спеть правдивую песню.

Дубинка снова поднялась и опустилась. За ней поднялась вторая и тоже опустилась. Первый удар пришёлся по спине. Второй по плечу. Потом стражники били уже куда придётся, тяжело дыша и всё сильнее распаляясь оттого, что пленник не кричал. Это продолжалось, пока один из них не сказал:

– Хватит. Завтра ещё поговорим… Пошли же, говорю!

– Чего ты испугался?

– Ничего.

– Тогда чего торопишься?

Тот не ответил. Они вышли. Дверь захлопнулась, засов снова лёг в скобы. Миннезингер остался лежать в темноте. Руки его совершенно не слушались.

Некоторое время он сидел неподвижно, тяжело дыша, прислушиваясь к боли и пытаясь не дать ей разрастись. Потом из соседней камеры раздался тихий голос:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Миннезингер открыл глаза. За стеной стало тихо. Через несколько мгновений голос продолжил, уже увереннее:

– *Правду не скрыть за высокой стеной…*

Откуда-то дальше, из глубины подземелья, кто-то подхватил следующие слова. Тихо, с ошибками, но подхватил.

Миннезингер прислонился к стене и слушал. Песня шла от камеры к камере. Он улыбнулся.

А далеко наверху, в тёплом пиршественном зале, казначей Гуго вдруг услышал, как молодая служанка, собирая со стола пустые кубки, едва слышно напевает себе под нос:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Гуго поднял голову.

– Что ты сейчас пела?

Девушка в страхе замерла.

– Ничего, господин.

– Я слышал.

Она побледнела. Гуго медленно встал.

– Кто тебя этому научил?

– Никто.

– Кто?

Служанка прижала к груди поднос.

– Я... услышала.

– Где?

Девушка посмотрела на него с недоумением.

– Здесь, господин.

Гуго ничего не ответил. Он оглядел пиршественный зал. Слуги убирали объедки. Пьяные гости расходились. Молодой поэт спал, положив голову на стол. Эберхард уже ушёл в свои покои. Всё было спокойно. И всё же Гуго впервые за этот вечер почувствовал настоящий страх. Певец сидел под землёй. А песня - нет.

***

Эберхард стоял на пороге босиком, в одной ночной рубахе. Волосы растрепались, лицо после вчерашнего вина отекло.

– Ты с ума сошёл?

– Простите, Ваше Высокородие.

– Который час?

– Пятый.

– Тогда проваливай!

Эберхард уже собрался толкнуть дверь, но Гуго удержал её ладонью.

– Песня пошла по городу.

Ландфогт поморщился, точно от зубной боли.

– Какая ещё песня?

Гуго молча посмотрел ему прямо в глаза. До Эберхарда дошло. Он чертыхнулся и отступил в глубину комнаты:

– Заходи.

В покоях стоял тяжёлый дух перегара и сгоревших свечей. На столе валялись обглоданные кости, стоял опрокинутый кубок и черствела недоеденная половина пирога. Эберхард плеснул себе вина из кувшина.

– И что ты предлагаешь?

– Казнить его.

– Я и так собирался.

– Казнить сегодня. С утра.

Ландфогт сделал глоток и скривился:

– Я не встаю в такую рань даже ради казней.

– Тогда к полудню эту песню будет горланить половина города.

Кубок замер у губ ландфогта. Гуго продолжал, не меняя тона:

– Казнить нужно публично. На площади. Чтобы видели все.

– Чтобы все услышали, за что?

– Именно.

Эберхард усмехнулся:

– Наконец-то говоришь дельные вещи.

– Но есть ещё лютня.

– А с ней-то что?

– Её тоже нужно казнить.

Ландфогт фыркнул:

– Боишься куска дерева?

– Я боюсь людской глупости, – Гуго подошёл к окну. Внизу, в сизом тумане, замер спящий город. – Оставим лютню – и завтра кто-нибудь объявит, что на ней играл

великомученик. Через неделю её станут показывать в трактире за медяк. Через год распустят слух, будто струны звенят сами по себе. Люди жадны до таких сказок.

– Тогда сломать.

– Сжечь.

Эберхард равнодушно пожал плечами:

– Сожгите.

– Вместе с ним.

Ландфогт обернулся. Несколько секунд в комнате стояла тишина.

– Красиво, – наконец проговорил Эберхард.

Гуго даже не улыбнулся:

– Полезно.

За окном прокричал первый петух. Ландфогт подошёл к окну и отдёрнул тяжёлую занавесь. На востоке, над зубчатой линией леса, уже проступала бледная полоска зари.

– Хорошо. К полудню сбейте помост. Сгоните весь город. Пусть смотрят, – он допил вино одним махом. – И объявите, за что его казнят.

Гуго чуть помедлил:

– За оскорбление Вашего Высокородия?

Эберхард состроил гримасу:

– Мелковато.

– За подстрекательство к мятежу?

– Лучше.

– За распространение лживых слухов, хулу на власть и подстрекательство к мятежу!

Эберхард оскалился в широкой улыбке:

– Вот видишь! Когда захочешь, сочиняешь не хуже этих чёртовых поэтов.

Гуго коротко наклонил голову и вышел.

Ещё до рассвета по узким улочкам поплыл затяжной, дробный гул барабанов. Глашатаи не спешили. На каждом перекрёстке они выбивали тревожную дробь и ждали, пока из окон не высунутся сонные, перепуганные лица.

– Слушайте, слушайте, и не говорите потом, что не слышали! По воле Его Высокородия ландфогта Эберхарда Гросса сегодня в полдень на рыночной площади свершится казнь бродячего певца, виновного в клевете, хуле на власть и подстрекательстве к мятежу! Горожанам повелено быть!

Оконные ставни с хлопком закрывались, но люди не уходили со дворов. На пороге лавки сапожник оглянулся на соседа.

– Это тот самый? Что вчера пел в замке?

Сосед неопределённо пожал плечами, озираясь на прохожих:

– Не знаю...

Сапожник понизил голос до шёпота:

– Говорят, хорошо пел.

У колодца баба перестала крутить ворот, сжав влажную веревку:

– И что же он пел?

Сапожник помолчал, прислушиваясь к шороху улицы, а потом едва слышно протянул:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Женщина подняла на него испуганные глаза:

– Откуда знаешь?

– Подмастерье утром напевал.

У соседнего крыльца кто-то – то ли нищий, то ли прохожий – глухо подхватил:

– *Правду не скрыть за высокой стеной…*

Все замерли. Никто не видел, чей это был голос. Но на другом конце улицы мальчишка-конюх уже насвистывал ту же незатейливую мелодию, таская ведра с водой. На рынке мясник

услышал её от подмастерья. У городских ворот стражник поймал себя на том, что бездумно мурлычет мотив, который ещё ночью напевал его сменщик.

А на площади уже стучали топоры. Плотники возводили помост – молча, опустив головы. Рядом слуги стаскивали в кучу сухие поленья и хворост. Один из них бросил на кучу лютню. Инструмент глухо стукнулся о дерево. Старый плотник перестал тесать доску и обтёр усы:

– Эту-то зачем?

– Приказ, – буркнул слуга.

– Славная была вещь.

– Была, да сплыла.

Старик оглядел лютню. На её резном боку темнела глубокая царапина – след от подкованного сапога.

– Дерево жалко... – пробормотал он.

Слуга оглянулся по сторонам и понизил голос:

– Говорят, на ней вчера такую песню вывели...

Плотник резким взглядом оборвал его:

– Песню не слышал, но осуждаю.

Слуга отошёл. А старик снова поднял молоток. *Тук. Тук. Тук.* И потом, с каждым ударом, в такт вбиваемым гвоздям, едва заметно губами начал подпевать:

– *Стоит заставить молчать одного,*

И песня найдёт себе тысячи ртов…

В сыром подземелье миннезингер очнулся от тяжёлого скрежета засова. С трудом разомкнул веки. Тело отзывалось тупой болью после ночного допроса: правый глаз заплыл кровавым синяком, губа лопнула, разбитые пальцы пылали.

В дверях стоял тюремщик. За его спиной глухо звякали доспехами четверо стражников.

– Поднимайся.

Миннезингер сел на соломе, с трудом опираясь на холодную стену:

– Уже утро? А как же завтрак?

Тюремщик посмотрел на него странным, тяжёлым взглядом. В нём не было привычной злобы.

– Не положено.

Миннезингер кивнул, скривив разбитые губы в подобии улыбки:

– Жаль.

Он попытался встать. Ноги подкосились, и молодой солдат невольно сделал шаг вперёд, протянув руку, чтобы поддержать его. Старший тут же грубо одёрнул парня. Миннезингер перевёл дыхание и всё же поднялся сам.

– Куда ведёте?

Тюремщик отвёл глаза, не ответив.

Вдруг из соседней тёмной камеры раздался глухой, хриплый голос:

– Эй, певец!

Миннезингер замер. На миг в подземелье воцарилась звонкая тишина. А затем невидимый узник тихо, но выверенно запел:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Стражники переглянулись. Из глубины мрачного коридора ему отозвался второй голос – молодой и чистый:

– *Правду не скрыть за высокой стеной…*

Тюремщик заметно побледнел:

– Молчать!

Но его никто не слушал. Запел третий. За ним – четвёртый. Эхо подхватило мотив, гудя под каменными сводами.

Миннезингер медленно расправил плечи и улыбнулся – впервые за эту ночь.

– Ведите, – тихо сказал он. – Кажется, меня уже заждались.

Когда миннезингера вывели на свет, солнце уже стояло над крышами. После сырой темницы дневной луч ударил по глазам слепящей болью. Он зажмурился и замер, пока стражник не толкнул его в спину:

– Шевелись.

Певец сделал несколько шагов и вдруг уловил свист. Совсем рядом кто-то тихо выводил знакомый мотив. Миннезингер поднял голову. У дверей кухни мальчишка тащил корзину с пустыми бутылями. Встретившись взглядом со стражей, он мгновенно сник, замолчал и уткнулся носом в грудь. Миннезингер улыбнулся.

Процессия миновала замковые ворота. На улицах уже выстроились горожане: вдоль стен, в подворотнях, под навесами лавок. При виде солдат толпа молча расступалась. Люди старались не встречаться с узником взглядом.

А миннезингер узнавал знакомые места. Вот перекрёсток, где ещё вчера просила подаяние старуха с пустым мешком. Вот дом с заколоченными ставнями. Вот порог, у которого валялась деревянная лошадка со сломанным колесом. Лошадки больше не было. У стены ждала женщина с дочкой лет семи. Девочка с испуганным любопытством смотрела на пленника. И когда тот сровнялся с ними, она неожиданно тоненько запела:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Мать с ужасом зажала ей рот, оттаскивая назад. Конвой резко встал.

– Кто пел?! – рявкнул стражник.

Площадь ответила тишиной. Солдат шагнул было к людям, но миннезингер тихим смехом заставил его обернуться.

– Чего скалишься?

– Ищете певца? – миннезингер окинул взглядом плотные ряды горожан. – Боюсь, теперь вам придётся арестовать весь город.

Солдат со злобой ткнул его древком копья между лопаток.

На рыночной площади собралось столько народу, сколько миннезингер здесь ещё не видел. Люди стояли плечом к плечу: ремесленники, торговцы, нищие, подмастерья, матери с детьми, угрюмые старики. В первых рядах теснилась стража.

Посреди площади возвышался свежесколоченный помост. Вокруг столба высились охапки хвороста и смолистых поленьев. А прямо поверх дров лежала лютня.

Миннезингер замер. Впервые за это утро улыбка сошла с его лица. Он долго всматривался в родной инструмент – в резные завитки, в тёмную царапину от сапога.

– Жалко? – негромко спросил стоящий рядом солдат.

Певец ничего не ответил.

На балкон ратуши выплыл Эберхард Гросс в алом кафтане, меховой мантии и тяжёлой золотой цепи. После пьяной ночи его лицо оплыло, но сам ландфогт напускал на себя величавость. Следом тенью ступил Гуго. Казначей сразу бросил острый взгляд вниз, на безмолвное море голов. Людей было слишком много. Он наклонился к уху Эберхарда и быстро что-то шепнул, но тот лишь отмахнулся.

Барабан пробил дробь. Гул разговоров стих. На помост поднялся глашатай, разворачивая свиток:

– Жители Вольфахталя! По справедливому приговору Его Высокородия ландфогта Эберхарда Гросса сей человек признан виновным в распространении клеветы, хуле на власть и подстрекательстве добрых граждан к мятежу!

Миннезингер слушал с преувеличенным интересом.

– Неплохо, – шепнул он палачу. – За одну ночь столько успеть.

Тот лишь покосился:

– Помолчи хоть сейчас.

– За содеянные преступления он предаётся огню вместе с орудием своей клеветы, дабы ни одна душа впредь не посмела повторять его лживых песен!

По толпе прокатился глухой ропот. Миннезингер поднял глаза. Гуго смотрел на него сверху. Толика торжествующего злорадства мелькнула в его глазах.

На ступенях помоста певец споткнулся – избитые ноги плохо слушались. Кто-то в толпе охнул. Но миннезингер удержался и поднялся сам. Его прислонили к столбу, и палач принялся сноровисто затягивать верёвки.

– Осторожнее с ней, – тихо проговорил миннезингер, глядя под ноги. Палач удивлённо поднял голову:

– С кем?

– С лютней.

– Ей через минуту гореть.

– Вот потому и прошу.

Палач лишь хмыкнул, узлом затягивая ремень.

На балконе Эберхард шагнул к перилам:

– Эй, певец! Ты вчера много разглагольствовал о правде. Есть у тебя что сказать напоследок?

Миннезингер помолчал, глядя в небо, затем выпрямился:

– Есть.

– Так говори!

– Развяжите руки.

Эберхард хохотнул:

– Зачем?

– Вы спрашиваете последние слова. А я привык говорить струнами.

Ландфогт бросил взгляд на лютню в дровах и сказал:

– Нет.

– Что ж... Придётся обойтись голосом.

Певец повернулся к площади. Тысячи глаз впились в него. Сквозь сотни лиц он разглядел ту самую женщину, что вчера собирала мучную пыль с камней. Она стояла у самого края толпы, прижав к себе детей. Увидел молодую служанку из замка. Старого плотника с молотком за поясом. Стражника с городских ворот. А у ратуши – нескольких бродячих шпильманов без инструментов.

Певец глубоко вдохнул:

– Вчера ваш господин велел мне сложить правдивую песню о его городе!

Эберхард дёрнулся, лицо его перекосилось:

– Зажигайте костёр!

– Я исполнил приказ! – голос миннезингера ровно звенел над площадью. – За это мне заплатили серебром, избили до полусмерти и привели сюда. Видимо, цена правды в этих краях меняется слишком быстро!

В толпе кто-то нервно хохотнул, но смех тут же заглох. Эберхард перегнулся через перила, багровея:

– Огонь, я сказал!

Палач занёс факел над хворостом.

– Погоди, – негромко попросил миннезингер. Палач отчего-то остановился.

– Чего ещё?

– Дай попрощаться. – Певец кивнул на лютню.

Палач растерянно посмотрел на балкон.

– Жги, дурак! – взревел Эберхард.

Факел опустился в сухую солому. Огонь взвился, юрко побежав по веткам и смолистым поленьям. Жадно дотянулся до резного корпуса лютни.

Миннезингер закрыл глаза от чада. Площадь замерла. Раздался тихий треск. Лак на дереве пошёл пузырями и почернел. Пламя лизнуло гриф. И в этой мёртвой тишине кто-то в глубине толпы запел – тихо, но твердо:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Миннезингер распахнул глаза. Эберхард мгновенно побледнел:

– Кто это?!

Никто не откликнулся, но из противоположного угла площади раздался второй голос:

– *Правду не скрыть за высокой стеной...*

– Схватить их! – визгливо закричал ландфогт.

Стражники метались, озираясь, не зная кого хватать. Сразу десяток голосов подхватили мотив. Потом сотня. Гуго медленно отступал от края балкона.

– Прикажите им замолчать... – прошептал он сухими губами.

– Заткнитесь! – загремел Эберхард. – Всем молчать!

Толпа стихла, подавленная его криком. Слышно было лишь, как ревёт пламя. Эберхард тяжёло дышал:

– Вот так...

И в эту секунду на костре с чистым звоном лопнула первая струна. Высокая, пронзительная нота взвилась над огнём и поплыла над площадью. Палач выронил факел. Гуго впился ногтями в каменные перила.

Следом от жара зазвенела вторая струна, ответив первой. За ней – третья. Струны натягивались и звучали одна за другой, изливая последние неземные аккорды. Пламя уже охватило весь инструмент, дерево обугливалось, дым рвался к небу – а лютня продолжала играть. И толпа, услышав этот знак, запела всей площадью – тысячей ртов.

Миннезингер смотрел на пламя. Огонь уже жёг его ноги, но по лицу медленно разливалась светлая улыбка. А из-за высоких городских стен донёсся гулкий порыв ветра. Шварцвальд просыпался.

Толпа пела. Сначала голоса сбивались, путались, кто-то опережал мотив, кто-то сбивался на шёпот, но с каждым новым кругом песня набирала силу, превращаясь в гулкий единый хор.

– *Пой же, мой город, покуда живой!*

Правду не скрыть за высокой стеной...

– Стража! – орал Эберхард, перегибаясь через перила. – Разогнать их! Немедленно!

Солдаты двинулись на людей, выставив копья. Первый из них с размаху ударил древком старика в переднем ряду. Тот качнулся, ухватившись за соседнее плечо, но не замолчал – из его разбитых губ вырвалась очередная строчка.

Рядом подхватила женщина. За ней – кузнец с закопчённым лицом. Потом – мальчишка, сидевший у отца на плечах. Солдат растерянно опустил оружие, шаг за шагом отступая.

– Чего встал?! – Эберхард уже давился яростью, брызгая слюной. – Бей их!

Ни один стражник не шелохнулся. Огонь поднялся выше.

Миннезингер стоял посреди ревущего пламени, прижатый к столбу. Подол его одежды вспыхнул, густой дым окутал плечи и грудь. Но сквозь серые клубы всё ещё видна была его спокойная улыбка.

Гуго смотрел на него с балкона, не отрываясь.

– Почему он молчит? – едва слышно прошептал казначей. Эберхард его не слышал. – Почему он не кричит?..

Пламя поглотило лютню целиком. Одна за другой с предсмертным звоном лопнули последние струны. Резной корпус раскололся с сухим треском, почернел и осел между раскалённых поленьев. Музыка смолкла. Толпа на площади тоже затихла.

Наступила тяжёлая тишина, нарушаемая лишь гулом костра. Миннезингер уронил голову.

Эберхард медленно распрямился. Несколько мгновений он всматривался в огонь, словно проверяя, не обман ли это. На его одутловатом лице расплылась торжествующая ухмылка:

– Вот и всё.

Гуго ничего не ответил. Лютни больше не было – остался лишь обугленный гриф, но и он спустя секунду рухнул в золу. Певец не шевелился. По толпе прокатился тихий, сдавленный плач.

Эберхард победно положил тяжёлые ладони на перила:

– Запомните это! – рявкнул он на площадь. – Вот что бывает с каждым, кто дерзнёт поднять голос против своего господина!

Площадь молчала.

– А теперь – расходитесь!

Никто не сделал и шага.

– Я сказал, прочь отсюда!

И в эту минуту над площадью снова раздалась песня.

Она зазвучала очень тихо, едва различимо. Эберхард замер на полуслове. Гуго медленно поднял голову. Мелодия рождалась будто из самого воздуха.

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

– Кто поёт? – прошептал Эберхард, бледнея.

Толпа стояла неподвижно, не разжимая губ.

– *Правду не скрыть за высокой стеной...*

Теперь слова слышались чётко и гулко. Ландфогт метнулся к краю балкона:

– Найдите его! Хватайте!

Стражники беспомощно озирались. Ни у кого в толпе не двигались губы. А песня нарастала. Она доносилась из глубин узких переулков, откликалась под крышами ратуши, возникала за спинами оцепенелых солдат.

Эберхард бешено вертел головой:

– Кто это?!

Гуго медленно повернулся к замковой стене. Мелодия исходила от самого камня. В окнах ратуши тихо зазвенели стёкла. Под крышей задрожала черепица. Из водосточной трубы вырвался протяжный, гулкий звук, похожий на вздох.

Женщина, у которой накануне забрали последнюю муку, первой подняла глаза. Её губы дрогнули:

– *Пой же, мой город, покуда живой...*

Рядом запел её старший сын. За ним – старик-плотник. За ним – десятки, сотни других. Через мгновение площадь пела снова. На этот раз солдаты даже не пытались поднять копья.

Эберхард судорожно отступил от перил:

– Гуго...

Казначей не отрывал взгляда от костра. Пламя опадало. Там, где сгорела лютня, осталась лишь серая зола. Самого миннезингера за густым дымом было уже не разглядеть.

– Он мёртв! – выкрикнул Эберхард.

Гуго молчал.

– Ты слышишь меня?! Он мёртв!

– Слышу...

– Тогда кто поёт?!

Впервые в жизни казначей не мог найти ответа.

Внезапный порыв ветра ударил в городские стены. Над догорающим костром закружился пепел. Несколько чёрных хлопьев поднялись в воздух и понеслись над площадью. Один опустился на каменный брус у ног палача – и прямо из этого пятна сажи тихо, но отчётливо раздался знакомый мотив. Палач в ужасе отшатнулся.

Другой кусок упал на подоконник балкона – и камень отозвался песней. Запели плиты мостовой, запели деревянные сваи эшафота.

Гуго попятился назад, сжимая крест на груди:

– Господи...

Эберхард вцепился казначею в плечо:

– Заставь их замолчать!

– Кого?!

– Всех!

Казначей смотрел вниз. Люди пели свободно, открыто. Кто-то плакал, кто-то смеялся сквозь слёзы, а дети подхватывали припев вслед за взрослыми. И среди тысяч слившихся голосов зазвучал один – чистый, спокойный, звонкий. Тот самый голос, что звучал вчера в пиршественном зале:

– Слушай же, Эберхард, песню мою...

Ландфогт стал белее мела:

– Нет...

– Долго ль сидеть тебе в тёплом краю?

– Заткнись! Замолчи! – орал он в пустоту.

– Лес терпелив. Он умеет молчать.

Эберхард изо всех сил зажал уши ладонями.

– Лес никогда не умел забывать.

Последнее слово сокрушительным эхом покатилось над Вольфахталем. И далеко за городскими стенами отозвался древний Шварцвальд.

Сначала глухо зашумели верхушки вековых сосен. Затем под ногами дрогнула земля. С главной башни замка сорвалась горсть старого раствора и с сухим шорохом рассыпалась по камням.

Гуго медленно указал пальцем на замковую стену. От самого основания вверх, рассекая древнюю кладку, бежала тёмная, растущая с каждым мгновением трещина. А песня над городом звучала всё громче.

Трещина росла. Она медленно ползла вверх по замковой стене, с хрустом рассекая вековой камень от самого фундамента до стрельчатых окон.

Гуго отступил на шаг, лицо его стало серым.

– Эберхард...

Ландфогт диким взглядом смотрел то на стену, то на бурлящую площадь.

– Прекратить! – кричал он, и голос его сорвался на визг. – Я приказываю прекратить!

Песня не умолкала. Она звучала из сотен глоток, набирая силу:

– Пой же, мой город, покуда живой!

Правду не скрыть за высокой стеной...

Эберхард бросился к капитану стражи, застывшему у дверей:

– Чего ждёшь?! Разгони эту сволочь!

Капитан не спеша расстегнул ремешок и снял тяжёлый шлем. Посмотрел на ландфогта, затем молча опустил шлем на каменные плиты:

– Нет.

Эберхард замер:

– Что ты сказал?!

Капитан отстегнул перевязь. Меч с глухим звоном лег рядом со шлемом:

– Я сказал: нет.

По площади прошёл гул. Один из солдат в первом ряду опустил копьё. За ним – второй. Третий с грохотом бросил тяжёлую алебарду прямо на брусчатку. Железо ударилось о камень. Следом раздался ещё один звон. И ещё. Оружие падало в пыль одно за другим.

Эберхард в ужасе пятился к дверям:

– Предатели... Изменники...

Гуго вцепился ему в рукав:

– Уходим! Скорей!

– Куда?!

– Прочь из города!

– Это мой город!

Откуда-то снизу, из самой глубины толпы, долетел одинокий крик:

– Наш!

И тысячи голосов подхватили его как обвал в горах:

– Наш! Наш! НАШ!

Эберхард метнулся в глубину замка, Гуго бросился за ним. За их спинами раздался оглушительный треск – от фасада откололся огромный валун и с грохотом рухнул на площадь. Толпа отхлынула. Следом обрушился второй.

Замок рассыпался. Годы поборов, жестокости, страха и людских слёз, скреплявшие эти стены вместе с известью, больше не держали камень.

Треснула главная башня. Старый колокол на колокольне качнулся и ударил сам собой – гулко, поминально. Один раз. Второй. На третьем ударе башня накренилась.

– Бегите! – закричал кто-то в толпе. Люди хлынули в боковые улочки.

А над рушащимся Вольфахталем продолжала звенеть песня. Миннезингер был мёртв. Лютня превратилась в пепел. Но песню уже знал каждый камень.

В тёмных коридорах замка рушились своды. Со стен слетали гобелены, лопались витражи, из ниш с грохотом валились статуи предков.

– В казну! – вдруг закричал Эберхард, поворачивая к винтовой лестнице. – Там золото!

Гуго в изумлении замер:

– Вы с ума сошли?!

– Там моё золото!

– Через минуту здесь всё погребет! – Гуго попытался схватить его за плечо, но ландфогт с силой оттолкнул казначея:

– Это моё!

С потолка посыпалась каменная крошка, балка над их головами треснула.

– Тогда подыхайте здесь, – выплюнул Гуго и бросился к выходу.

Эберхард дико посмотрел ему вслед, потом на лестницу в подвал. Замок снова содрогнулся, проседая. Выругавшись, ландфогт плюнул на золото и побежал за казначеем.

Они выскочили через задние ворота. Стражи там уже не было. Лошади в конюшне ржали и бились в стойлах. Конюхи распахнули двери, и испуганные животные вырвались на волю. Эберхард попытался цапнуть за поводья пролетавшего мимо коня, но тот шарахнулся и едва не затоптал хозяина.

– Пешком! В лес! – крикнул Гуго.

Они бежали из последних сил. Через сотню шагов позади раздался оглушительный, сокрушительный гул. Эберхард обернулся: главная башня замка медленно сложилась внутрь себя, погребая под обломками вековую цитадель. Над городом поднялось гигантское облако серой пыли.

И тут из города снова донеслась песня. Отчётливая и ровная:

– Слушай же, Эберхард, песню мою...

Ландфогт в ужасе зажал уши и бросился в чащу.

Шварцвальд встретил их гробовым сумраком. Под вековыми кронами царил холод. Между переплетёнными корнями лежал сизый мох, пахло прелью, хвоей и сырым камнем. Гуго тяжело дышал, озираясь:

– Надо держать направление на тракт...

– Я сам знаю свой лес! – огрызнулся Эберхард.

Они брели наугад минут двадцать, пока дорога окончательно не растворилась в папоротниках.

– Где тракт? – занервничал ландфогт.

– Вы шли первым!

– Ищи дорогу, пёс!

И тут прямо из дупла старого дуба донеслось тихое, шуршащее:

– Пой же, мой город, покуда живой...

Эберхард побледнел как мертвец:

– Это ветер... Просто ветер!

Они побежали. Ветки цеплялись за кафтаны, хлестали по лицам. Корни сбивали с ног. Гуго потерял башмак в грязи, но даже не остановился.

Песня звучала отовсюду. Сверху. Слева. Сзади. Из-под земли.

– Замолчите! Прекратите! – орал Эберхард, падая и поднимаясь.

Впереди между стволами мелькнул бледный свет.

– Там поляна! Выход! – задыхаясь, крикнул Гуго.

Они выскочили на круглую лесную прогалину и обомлели.

Посреди поляны стоял человек. Высокий, худой, в тёмном дорожном плаще. Лица под капюшоном было не разглядеть. За плечом висела лютня.

Эберхард захлебнулся криком:

– Ты... Ты же сгорел!

Фигура не ответила. Неторопливо подняла руку. Пальцы в тёмных ссадинах коснулись струн.

Раздался один-единственный чистый, пронзительный аккорд.

Эберхард взвыл и бросился в сторону, Гуго – за ним. Они бежали, пока лёгкие не начало жечь огнём. Эберхард рухнул в мох:

– Гуго... Помоги!

Казначей даже не оглянулся. Но на следующем шаге земля под его ногами словно подалась вперёд и сжала ступни. Гуго рванулся – и не смог сделать ни шага.

Он посмотрел вниз: из земли вылезли толстые, цепкие корни и намертво обвили его ноги. Гуго закричал.

Эберхард подполз на четвереньках, но вокруг его запястий тоже сомкнулись деревянные пальцы побегов.

– Нет... Только не это...

Гуго судорожно вытянул руки к небу. На его глазах пальцы начали удлиняться, костенеть, покрываясь грубой, тёмной корой. Голос казначея превратился в сухой, деревянный скрип.

Эберхард попытался подняться, но спина одеревенела, ноги налились свинцом и ушли глубоко в почву. Кожа трескалась, превращаясь в шершавую кору.

Последнее, что увидел ландфогт – как Гуго окончательно замолк. На месте казначея теперь стоял сухой, искривлённый ствол – тонкий, чахлый, согнувшийся, будто над счётной книгой.

А в следующий миг и самого Эберхарда не стало. На поляне поднялся второй пень – низкий, раздутый, с тяжёлыми, уродливыми наплывами древесины.

Порыв ветра прошёл по поляне, сухие ветви со скрипом соприкоснулись, выбивая тихий мотив. А затем Шварцвальд погрузился в привычную тишину.

***

К вечеру от замка Эберхарда Гросса остались лишь руины. Горожане разбирали завалы, тушили пожары, помогали пострадавшим.

Пепелище на площади давно остыло. Среди углей нашли лишь немного сажи и почерневший кусок дерева. Никто так и не сумел понять, был ли это фрагмент лютни или простое полено.

Миннезингера похоронили за городскими стенами – на высоком холме, откуда открывался вид на синие дали Шварцвальда. Имени его никто так и не узнал. На могиле не поставили пышного надгробия, не высекли герба.

Весной там посадили молодой бук. Женщина, у которой когда-то забрали последнюю муку, принесла воды в кувшине. Старый плотник вбил два колышка, подперев тонкий ствол. Дети аккуратно примяли землю у корней.

Прошли годы.

Замок так и не восстановили. Его камни пустили на постройку новых добротных домов и городских стен. Из расплавленной золотой цепи Эберхарда сделали покрытие для нового колокола в новой ратуши. Восковые таблички Гуго с долгами сожгли прямо на площади.

О двух странных деревьях в чаще Шварцвальда долго ходили мрачные слухи. Охотники рассказывали, что один пень был сгорбленным и усохшим, а второй – раздутым и гнилым. Любой дровосек, пытавшийся занести над ними топор, уходил ни с чем: сталь моментально тупилась и крошилась о железобетонную древесину. Со временем тропа туда окончательно заросла терновником.

Прошли века. Имена Эберхарда и Гуго стёрлись из памяти и остались лишь на пожелтевших страницах забытых хроник. Но песню не забыли.

Её пели на шумных ярмарках, насвистывали пастухи на лугах, качали под неё колыбели матери. Странствующие музыканты разнесли мелодию по всем королевствам. А бук на холме превратился в исполинское дерево с раскидистой кроной.

Однажды ночью, много столетий спустя, под его сенью остановился молодой юноша с лютней за спиной. Он развёл небольшой костёр, съел краюху хлеба и уже собирался лечь спать, как вдруг уловил странную музыку.

Она шелестела в листве бука. Звенела в журчании лесного ручья. Пела вместе со свежим ночным ветром.

Юноша прислушался, улыбнулся и достал инструмент. Он не знал, кто и когда сложил этот мотив. Но его пальцы сами легли на струны, выбивая знакомые ноты:

– Пой же, мой город, покуда живой...

Ветер подхватил звук и унёс его к верхушкам Шварцвальда.

И с тех пор в тех краях знают наверняка: можно казнить певца, можно сжечь его лютню и срыть до основания замок тирана. Но песню уничтожить нельзя. Её уже выучил ветер.